

Геннадий ПОПОВ



Прощальное тепло...  
Сентябрь исходит светом.  
Неведомо куда пропали облака.  
Летает серебро, искрится бабье лето,  
И стланет на ветру осенняя река.  
Повыщели к зиме небесные глубины,  
И только на волне густеет синева...  
А в роше молодой берёзы и осины  
Трепещут, шелестят невнятные слова.  
В садах то тут, то там —  
ручьями облепиха  
Стекает, янтарём  
на солнышке светясь.  
Уходит на покой торжественно и тихо  
Прозрачных тополей серебряная вязь.  
И нет всему конца, неведомо начало...  
Не знаю сам, куда пылят мои следы.  
Но осень на земле извечно означала,  
Что время собирать неспешные плоды.

Памяти Виктора Дронникова  
Есть охмельная благодать  
в осенних дождях,  
Вековая тоска, перелётные выси...  
Бабье лето уже побывало в гостях,  
Дождевые снега засинели, нависли,  
То ли дождь, то ли снег ожидать —  
не поймёшь.  
Потускнели и скрылись  
холодные зори.  
Облака, облака за туманами сплошь  
И безлистные рощи, как села в разоре.  
Немота, чернота —  
над рекой за селом...  
Я душой беспокойной туда улетаю.

Городская тоска поделом, поделом:  
Нет радости птице,  
покинувшей стаю.  
Вот слышу призывный  
мерцающий клик:  
Может, это меня небеса не забыли?  
Но безмолвно туманится  
солнечный лик,  
Рассекают простор  
устремлённые крылья.  
Только ветер шумит  
в погуствоших дождях,  
В клочья облако рвут  
васильковые бездны.  
Только светится клён,  
как пылающий стяг,  
И роняет на землю багряные звёзды.  
Вновь всюю зачистили  
дожди октября,  
И хмельная слеза затуманила око...  
Что ты смотришь на небо, окно открыто?  
Никого в вышине...  
Одиноко.

Полынный свет  
Полынный свет на куполах России,  
Стоит дозором русские кресты...  
Славянский стяг помяли, приспустили,  
Но высвется небесные мосты.  
Туманы взнезные расстояния,  
Загадочны земные времена:  
По странному капризу мирозданья  
Отчизна в никуда устремлена.  
Её непостижимы ипостаси,  
Движение — недоступное уму:  
Летит или плетётся восвоися —  
Известно только Богу одному.  
Полынный свет причудливо струится,  
В молчанье скорбном купола, кресты —  
Шеломы витязей.  
И каменные лица  
Церквей России...  
Сожжены мосты.

Гурузуф  
Ты помнишь, родная, Гурузуф?  
Мы были безумно богаты.  
Бабье лето уже побывало в гостях,  
А море синело внизу.  
И солнце за дальней горой  
Вставало, лучами маня...  
И ты той далёкой порой,  
Наверно, любила меня.  
Мы стали с годами бедней  
От наших забот и утрат.  
Прошедшее стало видней,  
Но так и живём наугад,  
Живём, в наших бедах вина

Прощальное тепло

Судьбы несчастливый билет.  
А мне оправдания нет,  
Что ты разлюбила меня.  
И ехать в Гурузуф не хочу,  
Он мне — как чужая родня...  
Но ставлю не точку — сечу:  
Ты всё же любила меня.

Разлив на Оке  
Весны ликующие звуки  
Сошли на мокрые луга...  
Разлив раздвинул берега,  
Расширил русло, скрыл излучья.  
Село на вздыбленном холме  
Идёт под парусом небесным:  
Церквушка — мачта...  
Кромка леса  
Синеет на крутой волне.  
Наполнив ветром облака,  
Плывёт село — душа России.  
Земные воды оросили  
Его песчаные бока.  
Дожди высоких русских звёзд  
Вспоили щедро эту землю...  
И зову древнему я внемлю  
Всех уцелевших наших гнёзд,  
Молитвам вековой тоски  
Ушедших в вечность поселений...  
Летит Россия во Вселенной.  
Над нею звёзды высоки.  
Не слышит сердце чукача  
Их поднебесного мерцанья.  
За что зовут нас гордцедами  
И только терпят нас пока.  
Но обращён небесный взор  
К нам, для которых и осталось  
Попутный ветер, неба парус  
И звёздный сокровенный зов.

Двое  
Морозный ельник затаился.  
Я это чувствовал спиной,  
Когда совсем дороги сбился,  
И ночь надвинулась стеной.  
Кричал в бездонные провалы, —  
Ни звука, ни огня в ответ.  
Пока, промёрзший и усталый,  
Не ткнулся в свежий волчий след.  
Волк шёл в село тропой разбоя,  
Звериным голодом гоним.  
Нас в этом мире стало двое.  
К жилью я вышел вслед за ним.  
Мы на задворках разминулись, —  
Я не посмел спутить курки.  
И разошлись...  
И оглянулись —  
Друг друга спасение враги.

Вербное воскресенье  
А.А.  
Простим природе  
раннюю промозглость,  
Тревожный крик души  
в полночный час...  
Так близкие, покуда лобят нас,  
Просят нам характер  
или возраст.  
На вербах почки чуть зазеленели...  
Ещё пути в полях не размело.  
Молчи, молчи...  
Последние метели,  
Как лебеди, ложатся на крыло.  
Их тень прозрачна,  
сущность невесома...  
Осели за туманами снега.  
Погода,  
словно женщина спросонок,  
Капризна, своенравна и строга.  
Холодная весенним ожиданьем...  
Оставим речь за дерзость суестьи.  
Пусть трепетно закроет губы  
дланью  
Благоговейной, страстной немоты.  
Легко в лесу, слегка заиндевелом  
У таинства охранной тишины...  
И только снег без края —  
в мире белом.  
И все слова — неточны и грешны.

Наконец, в телефонных шумах  
Слышу голос...  
Но мне показалось, —  
В недосказанных скрытых словах  
Прозвучали надрыв и усталость.  
Я давно разучил наузист  
Бесконечные песни разлуки.  
Неуспыно ревнивая грусть  
Стережёт, словно цепкие руки.  
Ты прости мне унылый настрой  
Непугливой порой листопада.  
Будет осень тоскливо-сырой...  
Но не надо об этом, не надо.  
Ничего говорить не спеши:  
Что, любима, скажешь словами?  
В непроглядной эфирной тиши —  
Только Бог и Судьба между нами.

«Я помню! О, если бы ты знала,  
Как гаснет твой след на песке,  
И всё, что давно миновало,  
На тонком дрожит волоске...»  
/Ю. Кузнецов/  
Не делай последнего шага,  
Не делай его без меня...  
Осколки небесного шара  
Осыпались, тихо звеня.

Зарю, что мгновенно остыла,  
Окутала чёрная мгла:  
Я думал, что ты позабыла.  
А ты позвонишь не могла...  
Сорвавшись с ночного полёта,  
Упала, сгорая, луна  
В забвенье земного болота,  
Где бедна небес не видна.  
Зловещие тёмные тучи  
Пошли надо мною кружить...  
Быть может, спокойней и лучше  
На свете без неба прожить.  
Насмешливо время бежало,  
Рождая причудливый звон...  
Его равнодушно жало  
Я вырву и выброшу вон.  
Чтоб слепо бродить пустырями,  
Стремясь отыскать острие,  
Однажды вонзённое нами  
В ненастное сердце моё.  
И будет большей год от года  
Потери безжалостный след,  
Пока не затмнит непогода  
Любви твоей призрачный свет.

Тяжёлые дожди  
Тяжёлые дожди  
нависли над полями,  
Слепые облака  
закрыли небосвод...  
Нельзя никак забыть,  
что было в жизни с нами,  
Не угадать всего,  
что будет наперед...  
Но будет длиться вечно  
Туманы и дожди  
над синевой лугов.  
И радость бытия  
для юности беспечной,  
И тёплая земля  
под сенью облаков.  
Пора сплошных дождей  
сменяет тёплый август,  
Последняя теплынь  
ласкает тишину.  
И полнитса грозой  
тугой небесный парус,  
Рождает поздний гром  
гремящую волну.

10 июля на 75 году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался замечательный русский поэт Геннадий Андреевич Попов. Отечественная литература понесла большую утрату. Член Союза писателей России с 1991 года, Геннадий Попов двадцать лет возглавлял Орловскую областную организацию. Сопредседатель правления Союза писателей России, действительный член Академии российской словесности, член-корреспондент Академии поэзии, лауреат Всероссийских литературных премий им. А.Фета, А.Прокофьева, В. Станцева, «Имперская культура», «Вешние воды», ЦФО в степени в номинации «За произведения художественной литературы», Большой литературной премии «Белые журавли» им. Р. Гамзатова. За литературную деятельность награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», памятной медалью Российской муниципальной академии «К 100-летию М.А. Шолохова. За гуманизм и служение России», медалью Ассоциации писателей Урала «За служение литературе», медалью Академии российской словесности «Ревнителю просвещения», серебряным орденом «Служение искусству» Международной академии культуры и искусства, медалью «Василий Шукшин». Многолетняя плодотворная литературная и просветительская деятельность Геннадия Попова получила широкое признание и высокую оценку. В своём слове на открытии XII съезда Союза писателей России, состоявшегося в 2004 году в Орле, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Г.С.Полтавченко назвал имя Геннадия Попова в числе «наследников литературного творчества наших великих классиков...», которые «сегодня берегут и умножают культурный слок Центральной России, хранят её славные исторические и военные традиции». Геннадий Попов внёс значительный вклад в развитие культуры Орловской области и в целом России, о чём свидетельствует всероссийское признание его заслуг. Светлая память о Геннадии Андреевиче Попове навсегда останется в наших сердцах.

Правление Орловской областной  
организации Союза писателей России

До своего юбилея 18 августа талантливая нижегородская писательница Людмила Ефремова не сумела дожить совсем немного... Зато сумела оставить после себя хорошие рассказы и прекрасные стихи. Помня о ней, мы публикуем её рассказ из книги «Шла, тихонько напевая»

Мария Степановна умерла хмурым ноябрьским утром 197... года. Три дня в доме, не прекращая, хлопали двери, ходили посторонние женщины в чёрных платках и надолго пропадали в гостинной, где на стандартном полированном столе стоял гроб с покойной. В день похорон погода выпала особенно скверная. Дул холодный пронизывающий ветер. Серые, беременные мелким колочим снегом тучи тяжело волочились по небу, задевая брюхом за крыши высотных домов. Подошедшие оркестранты ёжились на ветру, проклиная непогоду, циклоны, антициклоны, а заодно и покойницу, умудрившуюся умереть в столь неподходящее время.

В квартире было тесно и душно. Все приходящие с грустной почтительностью подходили к невысокому худощавому старику в чёрной ермолке, жали руку и высказывали соболезнования по поводу смерти жены. Старик с выразительным лепным лицом, с высоким лбом, разрезанным глубокими морщинами — три волье, одна, над переносицей, поперёк — слушал их спокойно и деловито и, отпустив кивком головы, возвращался к постоянно прерываемому разговору со стоящим рядом молодым человеком.

Николай Кузьмич был известным в городе человеком. Его картины составляли ту часть общественного достояния, которой гордятся любая провинция. Не было в городе сколь-нибудь значимого заведения — от лучшей современной гостиницы до Дома профсоюз, — чьи стены не украшали бы его пейзажи и натюрморты, и даже несколько раз по заказу городских властей брался он за сюжетные полотна с историческим или оптимистически современным уклоном. О нём нельзя было сказать: «Это что-то особенное!» Сиреневые стога Мане, голубые, словно нечёткое телевизионное изображение, танцовщицы Дега и геометрические обрубки тел Пикассо, хотя и стали живописной классикой, пребывали в каком-то совершенно ином мире, никак не сопоставимых с его реалистической манерой письма. На его картинах, как и тысячу лет назад, светило солнце, зеленела трава, с деревьев падали грозди, а в палисадниках буйствовали цветы. И всё-таки было у его картин удивительное неоспоримое достоинство: они были живыми! В самом деле, грудами никак не удавалось любоваться — их немедленно хотелось

съесть. Георгинны в простых трёхлитровых банках были чувственны, как восемнадцатилетние красавицы. Бутили тяжёлого зелёного стекла сводились к ума студенческую молодёжь, а предельно тупые туманы приводили в трепетный восторг стареющих мужчин и молодых женщин.

У Николая Кузьмича были ученики. Говорили даже о его собственной школе. Во всяком случае, молодежь относилась к нему с уважительной симпатией, и часто в маленьком кабинете раздавались их бойкие споры и размеренные монологи хозяйна квартиры. Вот и сейчас Николай Кузьмич рассуждал перед молодым человеком о народном творчестве как о разветвлённой корневой системе искусства, сравнивал ремёсла с пушкинской нянькой и, казалось, совершенно не понимал, где находится и что происходит.

Прошло двенадцать. Пошли выносить гроб. Сумрачные люди с траурными венками зашуршали, засеменили к выходу и выстроились там в корявую очередь. Всю дорогу до кладбища Николай Кузьмич был тих и строг, не вздыхал, не плакал, и только когда опустили гроб в могилу, сказал: «Прощай, Маша!» — и бросил вслед горсть земли.

На поминках много ели и пили, водка текла рекой, и продорожные люди не отказывались. Скоро народ опьянел, разошелся, расшумелся, разговорился. Николай Кузьмич встал и, никем не замеченный, вышел из столовой. На улице мокрый снег с дождём хлестал, как банный веник. Было сыро, холодно, сумрачно. Ноги сами отвели Николая Кузьмича туда, где всегда было сухо, тепло и уютно, куда ему особенно не хотелось сейчас идти. Он постоял у входной двери, затем отпер её английским ключом и, не зажигая свет и не раздеваясь, пошёл по коридору в свою мастерскую, которая находилась тут же, в квартире, при двух маленьких комнатах.

Вечерело. В окно мастерской вползал тягучий серый свет. «Как сахарный сироп или манная каша», — подумалось Николаю Кузьмичу. Ему вдруг вспомнилась сказка про горшочек, который, стоило сказать: «Горшочек, вари!» — начинал варить кашу сколько душе угодно. Вот и сейчас, казалось, кто-то шурша запустил волшебный горшок, и тот выплывал целые моря вязкой серой жижи, затопляющей всё вокруг, подбирающейся к подвездам и окнам



Людмила ЕФРЕМОВА

Две жизни

домов. Прохожие, кто как, пытались спастись от жуткого наводнения: прыгали в автобусы и такси, прятались под зонтиками и перебежали дорогу на красный свет и в совершенно неполюбованном месте. Николай Кузьмич отвернулся от окна. Ему вдруг представилось: вот и он точно так же всю жизнь бежал от непосильшей на него серости. Обрывки мольбы буждали в голове, он не приносил их складываться в систему. Взгляд его упал на последние летние работы. Тучные подсолнухи и кареглазые вишни казались сейчас надуманными и неуместными.

Он подошёл к сундуку, в котором хранились его не нашедшие спроса картины, и, порывшись, вынул свернутый рулоном холст. Это был старый, очень старый портрет Марии Степановны. Молодая женщина сидела в цветущем палисаднике. Упершись ладонями в скамью и выгнув вперёд загорелые ноги в белых носочках и парусиновых тапочках, она улыбалась немного сердито, немного кокетливо. Солнечный свет заливал её всю, лишь лицо оставалось в тени от клубящихся над головой цветущих вишен, и от этого она, далеко не красавица, выглядела таинственно и притягательно, словно языческая богиня.

Он вспомнил, как познакомился с ней. Это было в двадцать... каком же году? Он работал тогда (смешно говорить) бухгалтером в губернской отделении наркомпроса. Она, молоденькая учительница, пришла туда по своим делам. Потом его направили на работу в район, и они долго не виделись. Их новая встреча была случайной. Впрочем, случайной ровно настолько, насколько это возможно для двух молодых людей, посещающих один и те же учреждения, ходящих по одним и тем же коридорам и улицам пуская даже достаточно большого города. Вскоре они поженились.

Тут в его воспоминания шумной ватгой ворвались юные вихрастые друзья, все — сплошь начинающие художники и поэты. Были даже два музыканта — Миша и Гриша. Над ними ещё шутили тогда: «Вон наш Гримин идёт». Конечно, это было только шуткой, они вовсе не гремели, а играли довольно сносно — один на флейте, другой на гитаре, но прозвище к ним так и прилипло. Вспомнились тесные каморки — их временные жилища: то в подвале, то на чердаке или в каком-нибудь сарае — душные, прокуренные. Вспомнились первые уроки рисования, первые сомнения и разочарования, тайные мечты о ВХУТЕМАСе.

Вот войну он вспомнить не любил: это была грязная, жестокая работа, не имеющая никакого отношения к его любимому занятию. Четыре года легли на жизнь, как тяжёлый чёрный сон, от которого он очнулся в Польше, в госпитале, в мае сорок пятого года.

Она ждала его. Это не было с её стороны подвигом, как представляли иные женщины, это тоже была работа, такая же, как потом ежедневное хождение по магазинам, готовка еды, уборка квартиры. Её искренне удивляло, когда у прилавка доводилось встречать то или иное юное дарование: «Неужели вы, Мишенька (Сашенька, Лёшенька), сами ходите за картошкой (хлебом, молоком)? Что же ваша жена делает?» Постепенно ожидание стало её сутью. И когда у них появилась своя квартира, а при ней (и не мечталось) ещё и мастерская, их миры уже были прочно разделены невидимой границей, которая пересеклась лишь во время поздних обедов-ужинов да чаепитий особенно близких знакомых и учеников. «Там» царил творчество, и хотя называлось оно реальным искусством, но к реальной, обывденной жизни имело весьма отдалённое отношение. Проблемы всё ухудшающегося снабжения, починки старого постельного белья и множество других знали своё место в этом доме.

Она считала это естественным: кто-то же должен обеспечивать тылы. Он отнесся к этому, как к само собой разумеющемуся, кажется, даже не имея представления о существовании этой стороны жизни. У него были другие задачи и другие заботы: первая персональная выставка, первый официальный заказ, издание рисунков с фронта, вступление в Союз художников. Маша была здесь как будто бы ни при чём. Она не докучала ему ни советами, ни капризами. Если же он, мучаясь сомнениями, спрашивал её мнение, отвечала после долгого молчания медленно и вроде бы неуверенно:

— Твоя роща здесь, как на параде, — ни сучка, ни задоринки. И небо — разве у нас такое небо? Это же Капри, а не Поволжье.  
Он тут же взрывался:  
— Можно подумать, ты на Капри всю жизнь провела!  
— Ну, на Капри не была, это точно, а вот в Поволжье и впрямь всю жизнь.  
— Ты ничего не понимаешь! — сердито бросил он, и, громко топая, надолго ушёл в мастерскую.

Она приучила себя не обижаться на него в эти минуты, но отступить от своей себя не могла, и в следующий раз всё повторялось сначала.

Помнишь, Коленька, — говорила она задумчиво, продолжая гладить бельё или вытирать посуду, — когда мы прошлым летом были в Матвеевке, выдался удивительно жаркий солнечный день. Над землёй висело марево, как туго натянутая кисея. Воздух прямо-таки звенел от напряжения.

— Что ты хочешь этим сказать? — настораживался он.  
— Я хочу сказать, что у тебя этого нет, — обречённо вздыхала она.  
Далее следовало привычное «ты ничего не понимаешь!», но через два дня на картине скорее опущенная, чем выделас вышшая в то лето совершенно сумасшедшая жара.

Но сейчас он думал не об этом. Десятилетия мучительных поисков, сомнений, подмигивания реальности (порой, совершенно жуткой) под себя и в конечном счёте созидания своего и только своего собственного мира не оставили в его памяти заметного следа. Никакого следа не оставили в памяти ежедневные изменения своего (а Машиного?) лица, фигуры, походки, привычек. Только вехи, только итоги красными датами метили календарь его жизни. А сама жизнь шаркала за дверью большими ногами и спрашивала дрожащим Машиним голосом: «Коленька, убедить сейчас будешь?»

Он с удивлением посмотрел на старый портрет: разве это Маша? Молодая женщина улыбалась легко и насмешливо. Он не помнил её такой. Вдруг неожиданная мысль пронизала его: Маша — больше — нет. Нет больше старой, большой ровесницы, подруги. Осталась только вот эта молодая, посторонняя (потусторонняя — по привычке закаламбурил мозг) женщина. «Господи! Маша!...» — страх внезапно накрыл на него. Он уже не вспоминал, не рассуждал. Жажда одиночества вцепилась в него мёртвой хваткой. «Маша... Машенька... Как же я теперь... Один... Я же стар, Маша! Мне поздно начинать новую жизнь... Без тебя... Ты умерла слишком поздно, Маша!!!...» Зловещий, кошмарный смысл этих слов не доходил до его сознания. Он продолжал твердить: «Поздно... Поздно... Слишком поздно...»

Давно стемнело. Из мрака проступали белые пятна картины — платёж, туфельки, носочки, цветущая вишня. Рядом в лунном свете белела низко опущенная голова. Второй раз за день пробило двенадцать. Новая, неведомая жизнь зачиналась в темноте, холоде, сырости под мерное шарканье часов: «Поздно... Поздно... Слэш-ком поздно...»